

---

*Александр Кан*

## Костюмер

*Рассказ*

### 1

Трудно было понять, почему отец вдруг начинал изображать из себя поезд, точнее, становился поездом по несколько раз на день, когда отрывался от нее, — выходил из комнаты и двигался по коридору, — мелкими шажками, издавал протяжные гудки, должно быть, отправления, расталкивал локтями пространство, в конце коридора разворачивался и двигался обратно, без остановки, строго по определенному маршруту, — быть может, иначе и быть не могло, мучительно размышлял Кан, раз всю свою жизнь старик провел в поездах, в поисках неверной жены, его матери; кто-то когда-нибудь становится чем-то, тогда — по странной логике вещей — Кан когда-нибудь должен будет стать одеждой, раз работает он костюмером в театре, чьей-то одеждой — чьей? — никто, да и сам костюмер, не смог бы на это ответить. Но перед тем, как стать поездом, отец был просто-напросто... рогоносцем, да-да, так писалось в этих проклятых телеграммах: э-э-й, рогоносец! мы здесь с твоей верной, — там-то и там-то, — шлет тебе пламенный поцелуй... — отец свирепел, рвал в клочья эти листочки, бежал к шкафу, выбрасывал из него ее одежду, разрывал и разбрасывал по комнатам, на следующий день собирался в дорогу по указанному в телеграмме адресу.

На самом деле никто и не знал, сколько их было, ее любовников, — целая армия или один, безумный, безумно посылавший свои безумные телеграммы. Быть может, и не было на самом деле таких адресов, а отец, возвращаясь, ничего не говорил, только опускался от усталости на колени, и Кан мог подойти к нему, обнять, прижать к себе так, что казалось, они вместе, по-настоящему вместе, что он, его сын, обьял его собой, не оставив ни зазора, ни трещинки между их телами, хотя, вероятно, должно было быть наоборот, — он на коленях, а отец одевает его собой. Но черед его так и не наступил, ибо когда отец все-таки привел ее в дом, эту седую мумию, точнее, приволок, сама двигаться она уже не могла, о Господи! — только и вырвалось из груди костюмера, — папа, это она? — когда он приволок ее в дом, то тут же вцепился в нее, переполняемый то ли счастьем, то ли безумием, обнял ее и больше, кажется, объятий своих не раскрывал.

---

*Александр Кан* родился в 1960 году в Пхеньяне (КНДР). Окончил Республиканскую физико-математическую школу в Алма-Ате, Московский институт электронной техники и Литературный институт им.А.М.Горького. Автор многих книг прозы, в числе которых «Век Семьи», «Сны нерождённых», «Невидимый Остров», «Книга Белого Дня», «Родина» и др. Победитель международных литературных конкурсов в Москве, Берлине, Сеуле, Анн-Арборе, Беркли. Живет в Алматы (Казахстан).

Отец тут же забыл обо всем: о сыне, об их ожидании, о телеграммах, преследовавших на протяжении многих лет; ему же, Кану, только и оставалось, что подглядывать за стариками в щелочку, — странно, они не раз говаривали друг с другом, впрочем, о чем им было говорить? — головы их неколебимо покоились друг у друга на плечах. Более того, они даже не глядели друг другу в глаза, словно боялись какой-то страшной одной им известной тайны, которая могла вспыхнуть под их взглядами, — выжечь их глаза безудержным и яростным огнем. Потом — этот поезд, старик-поезд, понятно, старику нужно было куда-то выходить, не все же время сидеть в своей комнате, но лучше рядом, недалеко от комнаты, чтобы не дай Бог она куда не сбежала, хотя куда она могла сбежать? Кан частенько поджидал его в сумерках, прижимаясь к стене: отец, ты... — обращался он к нему, — отец, ты уверен... ту-ту! — сигналил ему отец, — то ли ему, то ли кому-то невидимому в сумерках, — отец, ты уверен, что это она? — шептал в темноте Кан и пугался своего вопроса, — тух-тух-тух, — бубнил отец, проезжая мимо: случайных остановок на его пути не предвиделось.

А потом посреди воцарившегося было в их доме покоя раздался стук в дверь: тук-тук-тук, Кан не успел подойти, — о, почему он не успел подойти?! — отец стоял уже двери и сжимал трясущимися руками какую-то бумажку. Казалось, он не сжимал ее, а откидывал, отбрасывал, а она, эта бумажка, никак не отлеплялась от его рук. Что это? — подошел к нему вплотную костюмер, дай-ка сюда, — отец, казалось, с радостью, перебросил в чужие руки, — получилось... — Кан развернул и согнулся от неожиданной тяжести. Папа, это недоразумение, — только и смог прошептать он, это не нам, это кому-то другому, по другому адресу, это, быть может, не вовремя, точнее, здесь что-то со временем, если уж не с адресом, то со временем, это из-за почты, там всю жизнь все путают, могут, к примеру, прошлогоднее отправить сегодня, а то, что будет через несколько лет, отправить вчера, я обязательно разберусь с ними, форменное безобразие, вообще в каком времени они живут? где они только берут такое? — может, сидят три бездельника, со скуки один сочиняет, другой пишет, третий отсылает по любому адресу, — почтовая рулетка называется, Господи, папа, я обязательно разберусь...

Пока Кан все это говорил, отец медленно опустился на колени, — как раньше, от усталости, Кан за ним, тоже медленно, прислонился холодным лбом ко лбу отца, — замерли, вот-таки наступил и его черед, — на коленях, правда, не так, как ему мечталось, — значит, должен быть кто-то третий, больше и сильнее, чем они, кто бы мог их укрыть или, по крайней мере, развести, но никак не оставлять в таких беспомощных позах. И этот третий не замедлил появиться, точнее, нечто третье, — то ли небо, то ли потолок, то ли ураган, буквально сметавший их с пути; как только открывалась дверь и входил почтальон с очередной бумажкой; на почте открещивались, смотрели на Кана как на идиота, вы не почта, вы — мучители, — бормотал Кан со слезами на глазах, с трясущимися руками, из которых выпрыгивали белые бумажки, — зачем вы так издеваетесь над ним? Потом его просто выводили из отделения, обыкновенно женщина, ласковая, теплая, с толстой сумкой на ремне, полной новых посланий людям, — ничего, все образуется, может, в самом деле хулиганье, а может, в том, другом отделении затерялась почта, потом кто-то нашел, испугался, стал поспешно высылать случайно на ваш адрес, — бывает и такое.

Да, в самом деле, приободрялся костюмер, я же говорил, здесь что-то со временем, — пулей домой: отец, я же говорил, здесь что-то со временем, отец кивал головой, значит, слышал, двигался дальше согласно маршруту, вдоль по коридору, со своими мыслями, со своим временем, увы, не совпадавшим со временем костюмера. Это Кан понял, когда заглянул в его комнату: теперь отец не сжимал ее в своих объятиях, он медленно и осторожно оглядывал ее со всех сторон, благо, та совсем его,

казалось, не замечала, — сначала лицо, руки, плечи, потом отойдет и посмотрит со стороны, потом приблизится... а вот этого, конечно, делать было никак нельзя, — водить рукой перед ее глазами, ведь не больная она была, а он не врач-невропатолог. Теперь уже Кан точно знал, что у отца есть свой план проверки, ибо после каждого своего прохода по коридору он по-хозяйски входил в комнату и деловито потирал руки, как хирург перед операцией, потом дверь плотно притворялась и — наступала полная тишина.

## 2

Главное, чтобы отец вконец не отчаялся, — мучительно размышлял Кан, отсиживаясь в своей костюмерной, не махнул бы рукой на все их годы томительного ожидания и не бросился бы вновь искать ту, что ушла от них много лет тому назад. Что за дурь ты несешь, успокаивал сам себя костюмер, отец уже в преклонном возрасте, правда, ни здоровья, ни упорства ему было не занимать, если что и отняли у него годы, так это память, вместо памяти — черная дыра, в которой, собственно, и мог исчезнуть отец в поисках какой-то другой женщины, тогда бы Кан мог сколько угодно кричать вслед ему, в эту дыру, мол, что же делать мне с этой наличной женщиной, что ждет тебя в соседней комнате, что же делать мне с той, которую ты приведешь, и кто даст мне гарантию в том, что после всего этого опять не посыплются на наши бедные головы эти проклятые телеграммы?!

Костюмер, ты что это делаешь? — выуживал его из той черной дыры властный голос завпоста, Кан словно просыпался, хотя спать он никак не мог, — сейчас вспомню, что же я делаю? — да, он стоял и рассматривал платье, которое ему принесли, все в дырах, изъеденное молью, — восстановить! — будет сделано, костюмер радостно переключался на работу, ведь если что и было у него, так это работа, — да, именно она, но никак не его дом с двумя стариками, судорожно сжимавшими друг друга в объятиях: кто кого? В самом деле, кто кого? — он это платье или платье его, — строчка за строчкой, Кан был отличным костюмером, работу выполнял свою аккуратно, когда примерял на себя костюм, получалось, кто в кого, — да-да, в сущности, люди только и делали, что раздевались и одевались друг в друга, это Кан стал понимать давно, — с тех пор, как отец привел в дом эту седую женщину, одел ее собой, и все было бы хорошо, если бы не эти проклятые телеграммы. Правда, платья тоже доставляли ему огорчение, точнее, не платья, а актеры, в них выступавшие; бывало и такое: после премьеры — банкет, что ему стоило? — актеру такому-то, прямо в машину, в царских одеждах, по городу, в ресторан: я не такой-то, я — царь Эдип, о-ох, — всеобщее восхищение, Эдип так Эдип, Эдипу шампанского, пей до дна, Эдип, но где же твоя Иокаста? На следующий день, а то и позже, по факту возвращения платья, актеру объявляли выговор, Кан был строг и неумолим, хотя втайне жалел нарушителей, в самом деле, кто они были в жизни, а тут все как один пророки Тиресии. Рассматривая платье, Кан приходил в ужас, обыкновенно такие вояжи до добра не доводили, — нитку с иголкой, лоскутки, если не успевал, брал работу на дом, — в одну из таких бессонных ночей сидел над костюмом, кажется, тогда уже это началось, ночные гудки в коридоре, по утрам телеграммы, — до него вдруг дошло: в сущности, они только и делали с отцом, что всю свою жизнь шили какое-то странное платье, которое должно было подойти к той одной, желанной, единственной, неповторимой, сидевшей за стенкой, теперь оказалось, не та, но — тогда ответьте! — кто вообще тот, а кто не тот? — и если бы он хотел по-настоящему иметь ту, а не ту, то ему нельзя было отпускать ее с самого начала, может, на секунду-две, но не на столько лет, как не

отпускал он, костюмер, свои платья, тут же в погоню за нарушителем, шаг за шагом, строчка за строчкой, — тихая покойная ночь.

Но это невозможно было объяснить отцу, даже когда Кан поджидал его в коридоре в сумерках, когда вдруг накатывало и подступал к горлу комок, и на глазах наворачивались слезы: о, если бы ты знал, отец, что все это бессмысленно, что можешь ты найти вторую-третью-четвертую, заполнить ими дом, заполнить ими целый мир, — он преграждал ему путь, слышал, как тихо буксует у его груди, чуть ли не плача, этот усталый поезд, — но никогда не найдешь ты ее, ту одну-единственную, ибо и ты, в конце концов, тот-и-не-тот и тем более не поезд, извини, отец, и даже не костюмер, не платье, — я даже не знаю, кто...

Да вот, конечно, была у него работа, работа спа-са-ла, работы всегда было невпроворот, вот и теперь, как только он вышел из костюмерной, к нему помощник и швея: сс-слушай, Костюмер, безобразие, — у той, что в «Идиоте», платье не ночует неделями, минуточку, чье? — да мы знать ее и не знаем, пригласили из другого театра, на главную роль, они-с, видите ли, переживают успех, — ехидно вставил помощник, тут швея, — ее успех нам боком, это просто ужас! — я разглядывала вблизи, когда зашла к ней в гримерную, зашла как бы поприветствовать, спросить, что ей нужно и как там у них, в столице, наклонилась к ней, как бы воротничок поправить, а сама в платье, платье вперилась, ужас! — там ни одного живого места нет, и как это можно в таком виде на сцену, видно, она в нем и спит, и ест, и так далее, смиловившись главный, разрешил в гримерной жить, пока жилье не подыщут, пусть бы тогда и пару платьев прикупил, одно название — столица, собирают всякую рвань! Хмыкнул костюмер, в самом деле безобразия! где ее гримерная? — шттаамм! — прошипели помощник и швея и — тикать, жалкие беспомощные люди. Кан протопал по коридору, — шаги командора — прямо к двери, занес руку, на мгновение замер, — с женщинами всегда все было по-другому, женщины или не уносили платье совсем, или срастались с ним всем своим существом, тук-тук-тук — можно войти? — вошел, кругом полумрак, контуры, блеск волос, простите, растерялся костюмер, — ввы за Настасью Филипповну?.. так, я за костюмера, точнее, я и есть костюмер, я, собственно, по поводу вашего платья, которое... знаете ли, поступают жалобы, платье должно находиться в костюмерной, выпалил он и вспотел, — да-да, это все поклонники, уносят меня прямо на руках, в вашем городе дикие люди... а не боитесь ли вы, — произнес вдруг костюмер и почему-то очень захотел зажечь свет, чтобы не разговаривать в темноте с темнотой, — не боитесь ли вы, что среди этих диких людей найдутся когда-нибудь рогожины, — шутка!

— Господи, — вдруг простонала она, — не трогайте выключатель, свет режет глаза, всем чего-то от меня надо: вам вот одежду, поклонникам моим одежда как раз и не нужна, так что я думаю, вы меня мирно поделите — бух! — платье ему прямо в лицо, вот тебе на, какое непочтение... в следующий раз, повернулся костюмер к двери, я к вам не приду, приходите сами, это не входит в мои обязанности... — и тут же выскочил из гримерной, хотя слышал, как что-то она ему говорила вслепую, требовала, умоляла, быть может, просила его о том, чтобы сделал он для нее исключение, женщины есть женщины, — стал бы, к примеру, ее персональным костюмером...

Странный был разговор, разговор в темноте, он и лица ее не разглядел, призрак да и только, спектакль этот, честно говоря, он совсем не любил, может, потому что актрисы на главную роль менялись постоянно, ему же хлопоты — ушивать, раскраивать, удлинять, и всё капризы-капризы, у всех поклонники, вот другое дело — Савельич, на роль идиота, постоянный партнер, крепенький такой, основательный мужичок без поклонников и поклонниц, — дача, жена, машина, — странное дело, чья это идея

была? — выдать его за идиота, ну и ладно, идиот так идиот, что нам смертным, зато платье Савельича всегда в аккурат, всегда приходило вовремя.

Когда Кан расправил ее платье, ничего странного он не обнаружил, ну два-три шва распоролось, у кого не бывает, это швея ему что-то наговорила из непонятной мужчинам женской ненависти. Кан — за работу, нитка с иголкой, тут надо вручную, строчка за строчкой, странное дело, — швы расходились на глазах, он и так, и эдак, извне и изнутри, бесполезно, — Кан забеспокоился, никогда у него такого не было, может, платье помнит ее тело, может, тело помнит свое платье, — может... он как бы забылся, опять увидел черную дыру, в которую мог провалиться отец, — может, отец помнит мать и ему на самом деле виднее, кто есть кто, она ли это или не она? Да, он очнулся, — видимо, платье скучало по ее телу, нитка скучала по иголке, иголка по нитке, а эта дыра, которую он никак не мог зашить, — эта чертова дыра, направлявшая на него свой черный-черный зрачок, скучала по нему. Он наклонился и стал быстро набирать стежки, тут же их стягивать, сжимать шов так, что пальцы его деревенели, но — не успевал, словно это странное платье стремительно наполнялось каким-то безудержно растущим телом. Он зажмурился и изможденно откинулся на спинку стула, и, заслышав чей-то голос, открыл глаза.

«Бесполезно. Я уже пробовала», — актриса нетерпеливо ходила по комнате, прикладывая к себе платье, и, проходя мимо, все заглядывала в него, костюмера, как в зеркало.

### 3

Все-таки она добилась своего: уговорила заносить ей по ночам платье, — самое удобное для нее время, — в самую ночь, когда все оставляют ее в покое, — в примерную, где она и в самом деле жила, а жить было больше нигде, если уж не в ночь, то — когда вам будет угодно? — днем, утром, непонятно, почему он сразу же согласился с ней, может, потому что не хотел, чтобы она оставалась чуть дольше с ним, не глядела так пристально в его глаза, в которых был тот самый испуг и те два старика, заключавшие, как два борца на ковре, друг друга в объятия. Уговорила и исчезла — цок-цок-цок, — только и остались что шаги ее, — что же еще? — вверх по лестнице, ведущей в никуда, по коридорам, в примерную, хотите, на сцену, хотите, на выход, на вольную волю, в царство ночных праздников-горячих поклонников-бредовых словес, — цок-цок-цок, куда вы ведете меня, чужие шаги? — в темную ночь, туда, где люди остаются, наконец, друг с другом наедине, в кривых коридорах и маленьких комнатках, на общих постелях и в тесных кабинках лифтов, — где смыкают свои объятия — гонг, — пыхтя и сопя, мучая друг друга, а если нет друга, то пустоту, — гонг, — застыть, замереть и дожить до утра, — ууух! — распасться, расстаться, не видеть, не надевать, все в шаги, — во что же еще? — удаляющие тебя от твоего соперника, вверх-вниз по лестнице, ведущей в никуда, цок-цок-цок, — куда вы ведете меня, чужие шаги? — куда же еще?

Кан и не помнил, как решился зайти к ней — к женщине? ночью? — да вот платье, она сама просила, ибо по вечерам не владела собой, странная просьба, странные ночи, он и сам-то уже несколько дней и ночей жил среди своих костюмов, днем, в перерывах, забегал домой, но там творилось то же самое, если не хуже, — отец был предельно подозрителен, подолгу не узнавал сына, не пускал его в дом, путал с почтальоном, визжал и брызгал слюной: где твоя сумка, сволочь и негодай, где держишь ты свои грязные пасквили? как смеешь сюда входить?? Кан проскакивал дальше, мельком заглядывал в комнату, мать-не-мать сидела лицом к окну, — быть может, оправдывались опасения отца, всегда говорившего, что там, за окном, ничего нет и быть не должно,

а она все равно глядела, в самом деле, что ей были его слова? — в таком случае, мужа-не-мужа, слова-не-слова, путавшего все и вся с почтальоном, что ей, в сущности, было это окно, которого на самом деле, может быть, и не было?

Потом обратно в театр, что делать, приходилось ночевать, театр был театром, костюмы — костюмами, а он — костюмером, может, в одну из таких ночей он и поднялся наверх с выглаженным платьем наперевес, приблизился к шелке двери, из которой падал слабый свет, вошел и, затаив дыхание, медленно опустился в кресло.

Первое, что хотелось сделать ему, это уйти, нет, не уйти, — зачем ты лжешь себе, Костюмер? — хотелось укрыть ее, нагую, одеялом и после этого уйти, в сущности, этим он и занимался всю свою жизнь, — укрывал и уходил. Кан поднялся наконец со стула, чувствуя свинцовую тяжесть в ногах, приблизился к ней и замер над ее постелью. О, если бы знал он заранее, если бы она его предупредила, — опять ты лжешь себе, Костюмер! — никто никогда никого не предупреждает, но все-таки, если бы она его предупредила, то он вошел бы сюда совсем по-другому — на цыпочках, обвел бы невидящими глазами комнату и громко объявил: «Платье подано», — платье подано, Костюмер, очнись и выполняй свои обязанности, возьми за одеяло и плавным движением вверх, до самого ее подбородка, зажмурившись и помня о том, что это ночь, внеурочное обманчивое время, приблизившее к твоим глазам чужую наготу, которую непозволительно было ни видеть, ни являть никому, ибо все люди в этом мире должны были во что-то быть одеты. Костюмер двинулся, и тут же произошло что-то невообразимое: раз-два-три, одеяло с силой оттолкнуло его, пронзительный крик, Кан поскользнулся и упал на пол.

Когда он приподнял голову, он увидел ее, натянувшую до подбородка на себя одеяло; подобрав колени, она с ужасом глядела на него: взгляд ее на мгновение замер, затем потеплел, «Ох, как вы меня напугали... Вставайте же».

Кан поднялся, присел на краешек стула, напротив нее, готовый в любой момент встать и уйти: странно было думать об этом, но дело его было сделано.

— Я хотел укрыть вас. Холодно, — вдруг произнес он, словно о чем-то вспоминая.

— То ли ночной кошмар, то ли рефлекс, — задумчиво произнесла она и стала искать сигареты. — Спросите, на кого?

— На кого? — поспешно повторил костюмер.

— На всех, — не сразу ответила она, — хм, я интересна всем только до и немножко после раздевания. Что со мной совсем после, уже никому...

Я, наверное, пойду, — привстал костюмер, чувствуя, что все, что происходило сейчас с ним, выходит за пределы его служебных обязанностей.

— Нет уж, — вдруг отрезала она. — Раз разбудили, так до конца. Или вы тоже с ограниченным интересом?

— Не понимаю, — еле слышно произнес он, покорно опускаясь в кресло.

— А вы почему не дома? Не остаетесь же вы здесь только ради меня, — заерзала она на месте, казалось, хотела встать, пройти по комнате, быть может, опять заглянуть в него, как в зеркало, но что-то ей еще мешало.

— Дома беспорядок, — произнес костюмер, не зная, что и ответить, и взглянул в окно, вдруг представляя себе отца, который совершал сейчас свой очередной обход-объезд, посылая свои сигналы прибытия и отправления — бескрайней ночи, темному небу за окном, задыхавшимся звездочкам в ночном сумраке.

Ууу, — донеслось вдруг до него украденным эхом.

— Вам не страшно, — задумчиво произнесла она, глядя вслед за ним в ночное окно, — что именно сейчас в вашем доме происходит, может быть, что-то очень важное, что не в силах вы уже изменить или остановить?

— Страшно, — прошептал костюмер и вдруг почувствовал какую-то легкость в их странном ночном общении.

— А мне уже нет, — она поднялась, наконец, и, закутавшись в одеяло, стала прохаживаться по комнате, — шлепала босыми ногами по полу, и костюмер как-то заворуженно следил за этими белыми пятнышками, перескакивавшими с места на место, — все, что оставалось от нее в этой темноте. — А когда-то было страшно, когда только начинала выступать на сцене, когда был дом, когда была мама...

— Мама? — удивленно переспросил костюмер.

— Да, мама, такая тихая-тихая мама, — она вдруг обернулась и взглянула на него, — так неожиданно, что он не успел отвести свой взгляд. — Вы тоже тихий. Это редко... — Мама. Мама тяжело болела, а у меня все только начиналось. Я пропадала в театре. Опять же гастроли. Когда возвращалась, садилась рядом с ней и говорила: вот, мама, ты подожди еще немножко, все скоро установится, меня возьмут в первый состав, я стану диктовать свои условия, на гастроли будем ездить вместе, — хотя сама этому не верила, такого не бывает, но она, — она, конечно, верила... О, сколько же лет прошло? А потом я начала замечать, мама на глазах сдавала, ну, конечно, приходили сестры, родственники, но меня всегда не было рядом. Потом я всерьез стала подумывать о большом-большом отпуске, даже руководство удалось уговорить, сказали, съездишь на эти гастроли и — отдыхай, устраивай свои дела. — Мама, вот видишь, — помнится, сказала я ей тогда, она по-прежнему сидела у окна...

— У окна, — опять вырвалось у костюмера.

— Да, у окна, ждала меня, я сказала, мама, вот видишь, еще немножко, одна поездочка, и все, мама, мы вместе, долгий бесконечный отпуск, как я тебе обещала, — одна поездка, о-о-о, если бы ты знала, как я устала, мама, как я хочу быть с тобой, как заживем мы вместе, она ни слова, я видела, она верит мне, — вы представляете, Костюмер, какой это ужас? — она опять обернулась к нему, и так резко, что одеяло упало с ее плеч. — Какой это ужас, когда маленький тихий человечек так верит тебе... Господи, люди не должны так верить!

— Вам холодно, — произнес костюмер, медленно привставая с кресла.

— И вот этот человечек верит тебе, ждет тебя, разыгрывающую на каких-то площадках чужую жизнь, в сущности, ложь, не понимая, что настоящая твоя жизнь хранится именно в этом человечке, который так ждет тебя. И вот ты возвращаешься в дом, не спеша прощаешься по несколько раз с друзьями, тебя провожают, доносят твои чемоданы, пожалуйста, здесь осторожней, еще по сигаретке? пару поцелуев, какие-то объятия и обещания, хватит, на сегодня все, затем ты входишь, идешь по длинному коридору, идешь-идешь, казалось бы, целую вечность, наконец открываешь дверь и говоришь: Здравствуй, мама, вот и я, — удивляясь, что уже так поздно, а она все еще в кресле, сидит у окна и все еще ждет тебя... Господи! Что же я в первый момент сделала? Да, я вышла из комнаты, закрыла дверь, вернулась обратно, к самому порогу, к чемоданам, и опять пошла по этому длинному коридору, опять вошла и сказала: Здравствуй, мама... И так много-много раз, а может, я уже не говорила «Здравствуй, мама», — и с самого начала шла и редела, кричала, что-то кому-то доказывала, видно, так громко, что соседи сбежались, увели в другую комнату, оторвали меня от этого коридора... Господи, конечно, я солгала, мне и сейчас страшно, что что-то очень важное, касающееся только меня, происходит сейчас без меня... Потом, после всего, я боялась заходить в ее комнату, вечером, в сумерках, сидела в своей и дрожала, казалось, оттуда, из маминой комнаты, из глубин коридора, наплывает что-то, — такая плотная потная пустота, я даже слышала ее... вот так: уууу, — как ветер в трубе.

Костюмер уже ходил за ней по пятам — тенью, невольно повторяя все ее движения, и сам не замечал, не понимал, что делает.

— Вот, сцена, — продолжала она. — Казалось, приятели, друзья, актеры, но — ничего не спасало. Понимаете, это как пустой зал. Вы должны понимать, вы же в театре, Костюмер, а? Это как пустой зрительный зал, наплывающий на тебя с таким невыносимым жутким гулом. Да, в зале люди, полный аншлаг, рукоплескания, цветы, крики, но на самом деле никого нет, на самом деле нет ничего, и ты кланяешься ему, этому залу, улыбаешься и делаешь вид, что того пустого зала не замечаешь и играешь дальше, не признаваясь себе в том, что ты уже видела его, его жуткий взгляд, что ты не играешь, а, в сущности, убегаешь от него — из спектакля в спектакль, — от этого вечно пустого зала. А потом дома, в пустой квартире, когда не перед кем играть, когда уже некуда бежать, начинается это «уууу-уу», — припирает тебя к стене, наплывает, вжимает в угол, лапает тебя, выворачивает наизнанку, — все что угодно, насилует тебя, еще и еще, пока ты не падаешь, не начинаешь выть и ползать по этому бесконечному коридору... Господи! — она вдруг остановилась, обращаясь прямо к нему: — Я же имею право хоть чем-кем угодно прикрыться — поклонниками, партнерами, рабочими, электриками, пожарниками, инженерами по технике безопасности, — кем угодно, кто шляется по этому ночному пустынному театру, — хоть на минуточку, на часок, пока опять не начнется *это* — Господи!

#### 4

Кан не помнил, прикоснулась ли она к нему в тот момент, схватила ли его за куртку, если да, то, быть может, лишь на долю мгновения, он помнил, он сделал шаг назад, маленький шаг назад, ибо никогда не позволял себе находиться так близко к кем-то рядом, быть может, только с отцом, когда тот возвращался со своих безнадежных поисков, но это было так давно, что и не помнилось, было ли это на самом деле, и если даже он хотел когда-нибудь это сделать, — навстречу кому-то, обнять и прижать к себе — то неизменно появлялся кто-то третий, шедший за ним по пятам, — вовремя преграждающий ему дорогу. Вот и теперь она словно что-то поняла, замерла, вздох — ах, да, извините, что это я к вам со своим... ничего не было, ничего нет, простите, уже поздно, мне пора спать, прощайте, — костюмер послушно развернулся и вышел — ууух! — пустой коридор, опять пустой коридор и этот третий, уже державший его за руку — пойдём? — пойдём, какая холодная у тебя рука, мы где? в коридоре, зачем — в коридоре? — о Боже, не мало тебе коридоров, — тех сумрачных, дома, с безумным отцом? когда я к отцу, ты уже наготове, ни слова не скажешь, уже тут как тут, зачем тебе двое в проклятом тумане? сойдемся вдруг ночью, а ты между нами — воздушною пленкой, зеркальным стеклом, живем-не живем, а всегда облекаем кого-то иного за этим стеклом, но если я вдруг повстречаю кого-то, — но если всей кровью в него прорасту, что скажешь ты мне, мой безумный мучитель, что скажешь ты мне, мой немой конвоир?

Кан спустился к себе в костюмерную, устало присел за стол, оглянулся, очнулся, тот, третий, исчез, спрятался где-то среди висевших на плечиках костюмов, так было всегда, когда не нужно — он появлялся, когда нужно — исчезал, — хотя какой был в нем прок? Кан чувствовал себя теперь совершенно обнаженным, только комната, его костюмерная, давила ему на плечи, обтекала его, казалось, обретая его форму, — форму сидевшего за столом костюмера, а может, то была не комната, а ночь, черная свинцовая ночь, залившая своей чернотой весь мир, кроме него — маленькое светлое пятнышко, которое она тоже зальет минутой-другой позже, и — нет костюмера, а есть ночной слепок, есть тяжелая вязкая масса ночи, заковавшая его в свои тиски, —

потом кто-то вынет его тело — о, кто же? — останется оттиск: здесь был костюмер — на память потомкам, которые, глядя на эту полость, будут думать, вот был костюмер, снимавший с людей своей одеждой слепки, и если все в конце концов и разбрелись кто куда, то остались их следы, их полые формы, которые эта свинцовая ночь все время душила своей глухой и слепой лаской.

Но он вдруг стал понимать совершенно другое, быть может, то, что проскочило между ними разрядом-искоркой там, в гримерной, наверху, за те доли секунды, пока она прикасалась к нему, пока тот, вечно третий, следовавший за ним по пятам, просовывал между ними вечным запретом свою ледяную руку, — он вдруг понял, что эту ночь все-таки можно победить, он вдруг почувствовал, как глубоко в нем зарождалось какое-то новое движение, которое уже разрушало изнутри своим биением наваливавшуюся на него свинцовую массу ночи.

Кан не помнил, сколько дней и ночей прошло после его открытия, в одну из них, этих ночей, которым был потерян счет, он поднялся к ней в гримерную, дверь тихо скрипнула, он вошел и почему-то знал, что на этот раз она не проснется, и стал разглядывать ее, свернувшуюся калачиком, спавшую глубоким сном. Потом он встал и осторожно прилег на самый краешек ее постели и стал смотреть на нее, и уже, сам того не замечая, повторял своим телом ее изгибы и очертания.

Он думал о том, что сейчас их разделяет пропасть шириною в кровать, и все свои ночи он посвятит тому, чтобы приблизиться к ней — по сантиметру в ночь, повторяя ее линии, и если до этого он не знал, в чем будет заключаться его новое движение, то теперь это было просто и ясно. Но, Боже, как это было трудно сделать! — длить покой днями и мучительно тихо двигаться по ночам, — так, чтобы с каждым побежденным им сантиметром пути ничто не могло сдвинуться, шелохнуться, — проснуться от его движений. Теперь у костюмера была своя тайна: каждую ночь он поднимался к ней и тихо ложился на ее кровать, он знал, что сейчас он обманывает саму ночь и того вечно третьего, кого теперь не было между ними, и, в сущности, весь этот мир, покойно считавший его пожизненным костюмером. Он знал, что в эти тихие часы, когда, казалось, ни одна земная тварь не смела нарушать своей жизнью вселенский покой, ему необходимо было хранить самое чуткое молчание, но то ли от радости движения, то ли от вспышек его счастья, озарявших ночной полумрак, он тихо пел, посылая эту странную ночную песню ей, спавшей глубоким сном, и ничего не мог с собой поделать.

О чем же он пел? Быть может, о том, что никогда в своей жизни он, Костюмер, и не мечтал о встрече с человеком, которого он мог бы укрыть не своими костюмами, а собой, дорогая, — ты слышишь? — только собой, как не мечтал он о том, что сможет повторять собою линии, чувства и мысли другого человека, и — если ты сейчас, милая, спала, свернувшись калачиком, то то же делал и я, Костюмер, повторяя твои изгибы и очертания, и если ты сейчас, любимая, видела прекрасный сказочный сон, то и я видел его, со стороны, как могут видеть эти сны стражники твоих снов, — и если ты в эту тихую ночь о чем-то мечтала, то и я, поверь мне, мечтал об этом же, как может мечтать о сокровенном близкий тебе человек, ставший твоей душой и плотью. Хотя прости меня, милая, я забежал немного вперед — пел костюмер, — как забегают дети, полные безудержного счастья, вперед, выдавая желаемое за действительное, я забежал вперед, любимая, потому что и нас с тобой разделяют пока еще безумные расстояния, которые мне нужно будет преодолеть, — во что бы то ни стало; я просто тихо двигаюсь навстречу тебе каждую ночь, так тихо, что ни тени тревоги не пробежит по твоему лицу, ни единого шороха не раздастся в твоей тишине, ни одна мысль не омрачит твой разум, быть может, только чувство мое, о, да! — так пел костюмер, — переливается и бьет через край, и я не могу ничего с этим поделать, — ни сдерживать его, ни управлять

им, я просто сосуд, через край которого бьет это чувство, быть может, не только мое, но и — о, не бойся этих слов! — всех спящих сейчас людей, которые чего-то недочувствовали, кого-то недолюбили, о-о-о, может, я — скважина в этом неуютном мире, погребенном под лавой сна, одна на всю вселенную, через которую бьет такой могучий, такой неудержимый поток любви, — что — я уверен, любимая! — весь ночной мир вот-вот проснется сейчас от моего неукротимого биения!

Иногда костюмер затихал и протягивал к ней свои руки — сомкнуть их раз и навсегда, — и тут же тело его охватывало судорогой от переполнявшего его чувства, тогда он пытался вдохнуть воздуха — и слезы лились по его лицу, и он уже так плакал и так задыхался, что не видел ничего вокруг себя, не понимал, где он и как он здесь оказался, не замечал, что она вот уже несколько ночей не спала, не в силах, как и он, ни вздохнуть, ни произнести слово, — ни шелохнуться.

## 5

Быть может, Кан никогда бы не смог объяснить себе, почему именно в тот момент он не сделал этого, — простирая к ней руки, не обнял ее, почему вдруг между двумя людьми возникла такая бездонная пропасть, как и не смог бы никогда признаться себе в том, что, простирая к ней руки, он вдруг увидел не ее лицо, а черное небо, безумный хохот бесновавшихся звезд, кого-то, шедшего ему навстречу, простиравшего к нему руки, в руках небо и хохот звезд, — он вскочил с постели и выбежал из гримерной, дальше, по коридору, вдруг понимая, что испугом своим накликать какую-то страшную беду, которая уже вываливалась из его — или тех других? — так и не сомкнутых пустых рук, уже катилась, обгоняя его, снежным комом по коридору.

Так и получилось, — когда он вошел к себе, он вдруг обнаружил пропажу нескольких — редких и дорогих — костюмов, висевших на самом виду, вместо них болтались какие-то грязные ватники и халаты, словно с издевкой простирая к нему свои согнутые затвердевшие от грязи рукава. А потом, уже в следующие дни, обнаружили и другие пропажи, и, глядя на то, что оставалось взамен, Кан вдруг начал понимать, что в их театре, быть может, существовал какой-то тайный подпольный театр, о существовании которого не подозревал никто, кроме него, костюмера, и кто-то из этого подпольного театра, должно быть, воровал его костюмы для какого-то своего безумного и ужасного представления — какого?! — в таком случае, думал костюмер, его театр с тем же успехом мог находиться в каком-то другом несоизмеримо большем по размерам театре, о существовании которого Кан мог узнать только выйдя за пределы своего театра.

Опасения его незамедлительно стали сбываться: как только он вышел в город, как бы по своим делам, о настоящей цели визита он, конечно, никому не сообщил, он вдруг стал обнаруживать странные вещи: сначала он увидел тучную женщину, торговавшую на улице колбасой, и ничто не смогло обмануть костюмера: она стояла в ватнике, а под ватником — о, ужас! — было золотистое платье царицы Клеопатры из старого спектакля, который не ставился в театре вот уже несколько лет. Продавщица царственно помахивала, словно жезлом, батоном колбасы, и люди в нескончаемом потоке угодливо кланялись ей в такт ее движениям, безропотно двигаясь друг за другом. Главное, не паниковать, успокаивал сам себя костюмер, шел дальше, всем своим видом показывая, что ничего не произошло, вдруг дворник выскочил из подворотни с лопатой и метлой в руках, дворник как дворник, если не считать, что одет он был в яркие атласные штаны достойного Хон Киль Дона. Кан остановился в растерянности, провожая взглядом похитителя, больше нельзя было этого терпеть, самозванцы

разгуливали по городу совершенно свободно, он прошел несколько шагов вперед, не зная, куда идти, завернул за угол и тут же увидел милиционера, управлявшего потоком машин своей милицейской указкой. Он бросился к нему, прямо на середину улицы: «Сержант... или как вас там?» — патрульный обернулся, костюмер приблизился, и тут он не выдержал, начал кричать в истерике, бить кулаками в грудь патрульного, выбивая из-под его шинели белоснежную батистовую графскую рубашку. Благо, сержант растерялся, ничего не понял, полез было в кобуру, Кан кинулся к тротуару, в подворотню, как пьяный, раскачивался из стороны в сторону, — скрыться от возможной погони, хотя какая могла быть погоня, если преступником был не он, а тот самый патрульный милиционер?

Некоторое время Кан отсиживался в темном сыром подъезде, все почему-то казалось, что он — Раскольников, еще не зарубивший свою торговку колбасой, но уже где-то рыскал, следил за ним, выискивая его следы, тот жуткий дворник в цветастых шелковых штанах. Потом он все-таки поднялся, вышел через другую подворотню прямо на центральный проспект, вокруг скрежет, шум, гам, в глазах запестрило, лица и окна как лоскутки, хмурое небо, насмешливо выраженное кем-то в рваные облака, куда бы он ни глядел, везде — на улицах, в окнах, в машинах — мелькали его костюмы — воротниками, манжетами, целыми подолами — старательно спрятанные под серой неприметной одеждой пассажиров и пешеходов. В этом он теперь нисколько не сомневался.

Если весь город вдруг решил носить его костюмы, мучительно размышлял костюмер, шагая по направлению к театру, то почему же никто из руководства театра его об этом не известил, и почему, что показалось ему самым поразительным, не назначили старшего самого главного костюмера, который мог бы столь же ответственно, как и он, отвечать за одежду этих людей. Тогда бы этот старший самый главный костюмер непременно дал бы знать ему, младшему костюмеру, что ни в коем случае не стоит удивляться и тем более так расстраиваться, если повстречает он вдруг какого-нибудь Дон-Кихота, по совместительству грузчика, или наоборот. Тогда бы он смог, уже ничему не удивляясь, подойти к этому человеку и поинтересоваться у него, к примеру, не тесен ли ему, уважаемому грузчику, этот прекрасный костюм, и есть ли у него, уважаемого Дон-Кихота, какие-либо жалобы на костюмеров. Тут опять повстречалась на его пути торговка в ватнике — в целости и сохранности — под ватником платье Клеопатры, Кан не выдержал и подошел к ней вплотную, и прежде чем спросить ее, не тесно ли ей, уважаемой, это прекрасное платье, он наклонился прямо к ее обширной груди, чтобы наверняка удостовериться, то ли на ней платье или не то.

Продавщица, крупная розовощекая женщина, сначала и не заметила костюмера, быть может, увлеклась и вошла в роль — отрезай и властвуй! — но кто-то из кланявшихся ей в очереди стал подозрительно коситься на него и шипеть. Тут торговка обратилась к нему с вопросом: «Вам чего?» — Кан не расслышал, так он был увлечен своим занятием, — Вам чего?! — прогудела повторно она, и тут он отвел свои глаза, полные удивления, в которых, быть может, еще отражалось то узненное им платье.

Пшшиик, — сработало в ее голове. — Пшшиик... «Воррюга!» — вдруг, через паузу, проревела она и с размаху стукнула его своим жезлом по голове. Кан прогнулся от невероятной тяжести и отскочил в сторону, но перед этим успел ухватить ее за ватник мертвой хваткой, стал сдирать с нее одежду, выкрикивая лихорадочно, скороговоркой: «Отдайте! Отдайте сейчас же!»

«Воррууют!» — опять заревела она, не уставая при этом молотить его колбасным батоном по голове, тут на крик выскочили грузчики в таких же грязных, как и у нее, ватниках, — осоловелые, полупьяные, — больше костюмер ничего не успел разглядеть,

он ухватился за платье Клеопатры и порвал его, — в руках оставался золотистый лоскут. Тут поднялся такой визг и грохот, что костюмер бросился, уворачиваясь от ударов, в сторону и побежал по улице по направлению к театру. За ним кинулись те двое в ватниках, слева и справа, шипели ему вслед, тупо ругались и били его чем-то тяжелым по голове, он уворачивался от ударов, крови, кажется, не было, когда он убыстрял свой бег, удары приходились ему прямо по спине, — так они пробежали с полпути, и тут Кан заметил, что те двое, собственно, и не собирались его догонять. Быть может, хозяйка их уже исчезла из виду, и они уже не выдавали такой ярости и прыти, бежали за ним следом, исправно дышали ему в спину, вяло били его по спине, отчего у костюмера возникало странное ощущение, что эти двое пытались выбить из него что-то, что — по логике происходившего — должно было заключаться в нем самом. Но — в нем ничего не было, ничего он собой не облакал, в конце концов, я просто костюмер, если что и есть во мне, так это лоскут золотистого атласа в кулаке, только и всего, — и это, быть может, те двое скоро и поняли, потому что на подходе к театру отстали и остановились у пивной.

«На вас лица нет», — побледнела и еле вымолвила билетерша, завидев костюмера, влетевшего в театр; он странно хохотнул и бросился мимо нее, прямо к главному в кабинет, прижимая к груди золотистый кусок атласа, пульсировавший в его руке, как какое-то другое, быть может, настоящее, найденное им на улице сердце, и вдруг столкнулся с ним прямо в коридоре, — одетым в широкий рогожинский крытый тулуп, странно, с огромным мечом в руках — и почему-то таким пьяным, каким Кан не видел его ранее никогда.

— Вот, ходил к бутафору, — с трудом произнес главный, нетвердо стоя на ногах, — и он мне выдал это... — показал на меч. — Хотя Настасью Филипповну, — он качнулся, продолжая говорить ему на ухо шепотом, — я должен, если помните, убивать маленьким ножиком для бумаг... и под самую левую грудь, и чтобы крови с полложки, ни капли больше... — Он опять качнулся, уже в обратную сторону, чуть было не упал, и вдруг жалобно произнес, чуть ли не плача: — А ножик-то тю-тю, так мне сказал этот глупый бутафор и выдал мне это, — он выставил вперед меч, казалось, сделанный из настоящей стали. — Что мне теперь с ним делать?..

— Настоящий? — испуганно спросил костюмер, протянул было к нему руку и вдруг отдернул с ужасом: а что если в самом деле...

Но главный уже не видел и не слышал его, шел дальше по коридору, раскачиваясь из стороны в сторону, бормотал что-то себе под нос, волоча за собой этот жуткий меч, глядя на который, Кан не уставал содрогаться, благо, спектакль *ее* должен был быть еще через несколько дней, — быть может, за это время главный успеет протрезветь и выспаться.

Вот уже несколько дней он не мог с ней увидеться, по ночам не заставал ее в гримерной, — что-то странное в самом деле происходило в театре, это костюмер понимал уже окончательно, когда обнаружил, что вместе с пропажей костюмов исчезали и актеры, для которых, собственно, и предназначались эти костюмы. Получалось так: если пропадало платье, то вслед за ним и актер, носивший его, — такая зловещая была закономерность, хотя другие актеры, еще остававшиеся в театре, всегда говорили о каких-то заурядных причинах их таинственных исчезновений. Как же вы не понимаете? — горячился костюмер, быть может, единственный, кто знал об истинной причине их пропажи, но никто не выслушивал его до конца, все так и выходили на сцену, не выяснив, кто будет играть вместо отсутствующих, — в сущности, никого это не интересовало, ибо в спектаклях участвовали какие-то странные люди, которых Кан никогда ранее в театре не видел.

Они даже не участвовали, а просто вываливались на сцену, — кто из зала, кто из

порталов, в каких-то мятых черно-серых костюмах, полупьяные, в грязной обуви, расхаживали между актерами, что-то жевали, гоготали, заглядывали другим в лица, паясничали, — да и вообще выделявали всякие непристойности. Те же, настоящие актеры, — на удивление костюмера — никак не реагировали на все это, и даже виновато улыбались пришлецам в ответ, словно извинялись за то, что не могут уделить им больше внимания.

Кан еле дождался дня ее спектакля. Он пришел уже под самый занавес, ибо весь день и вечер латал оставшиеся костюмы, которые приносили ему актеры, все в пятнах, дырах и порезах, что опять же никого не удивляло, и даже самого костюмера, помнившего о том, в каких условиях приходилось выступать им на сцене. Слава Богу, она была на сцене, он наблюдал за ней со стороны: она была очень бледна, быть может, возбуждена излишне, с каким-то сумасшедшим блеском в глазах, — самая настоящая Настасья Филипповна. Единственное, что омрачало зрителям спектакль, это отсутствие Рогожина, но именно этому втайне радовался костюмер, — неизвестно, что мог вытворить главный, который день блуждавший сомнамбулой по театру со своим огромным отнюдь не бутафорским оружием.

Финал спектакля актеры играли, импровизируя, — что делать, — вопреки великому замыслу автора и режиссера: Настасья Филипповна ложилась на кровать, смиренно прикрывала глаза и, казалось, засыпала. Савельич в роли князя сначала бегал кругами вокруг ее постели, изображая отчаяние, затем тоже ложился на кровать рядом с ней, но все ворочался, вздрагивал, оглядывался по сторонам, — на самом деле не зная, что предпринять ему, бедному, дальше, и вдруг, — быть может, от перенапряжения превращаясь в настоящего идиота, — душил ее под бурный шквал зрительских аплодисментов. Затем на сцену выбежала толпа людей в серо-черных костюмах и, не давая актерам оправиться, встать, откланяться перед зрителями, унесла ее, казалось, пока еще мертвую, со сцены, мимо него, дальше по коридору, — в гримерную.

Кан смиренно опустил голову и замер, скрывая волнение, — уж очень убедительно сыграл Савельич на сцене, и стоял так несколько минут, полный отчаяния, затем спохватился и бросился вслед за ними. Когда подходил к ее гримерной, вдруг обнаружил: все те, составлявшие толпу ее поклонников, как-то чинно выстроились вдоль стены — до самого конца коридора. — Что это? — вырвалось у костюмера, — шаг вперед, и тут на пути его выросли две огромные фигуры, лиц их в полумраке невозможно было разглядеть.

— Вам кого? — нагло спросил один из них и оттолкнул его грудью так, что Кан отскочил в сторону. Он никогда не приходил к ней сразу же после спектакля, это было не его время, время шума и суеты, — но только по ночам, хотя не раз слышал от коллег, что после каждого ее спектакля в коридоре было не продохнуть, — все толпились у ее гримерной или, как сейчас, выстраивались вдоль стены.

— Мне к ней... в гримерную, — растерянно произнес костюмер, на что незнакомец указал ему куда-то вглубь, в самый конец коридора. — Во-он, занимайте очередь.

— Какую очередь? — пораженно исторг костюмер и вдруг почувствовал, как закружилась у него голова, — уух! — и опять наплыло страшное: черное небо и хохот бесновавшихся звезд, и чьи-то шаги в глубине коридора, — быть может, существовавшего лишь для того, чтобы идти по нему, останавливаться и выстраиваться в очередь.

— Как какую? — переспросил второй вкрадчивым голосом. — Простите, вы по служебной?

— Да, — уже не понимая, о чем идет речь, ответил костюмер. — Я — костюмер.

— Удостоверение есть? — учтиво спросил второй.

— Есть! — бодро выпалил костюмер, приосанился и почувствовал, что начинает сходить с ума.

— Тогда другое дело, — успокаиваясь, произнесли эти двое, повернулись к двери. — Передайте, костюмер пришел...

Костюмер... костюмер... — пронесся шепот по цепочке, — все как один, сажень в плечах, огромного роста, — дверь скрипнула, шепот нырнул внутрь, — пауза, и все стоявшие в коридоре разом замолчали, такая железная, видно, у них была дисциплина. Раз-два-три, — просчитал про себя костюмер, чтобы не заснуть этим дурным сном, и вдруг услышал: Что? Костюмер? — это был женский голос, но явно не ее, быть может, той другой, что появилась вместо нее, задушенной на сцене, — надтреснутый, с хрипотцой, полный то ли испуга, то ли ужаса, — Костюмер? Нельзя!! Вот... вот, отдайте ему это!

Нельзя... нельзя, — понеслось обратно по цепочке.

— Да почему же? — уже полный отчаяния, вопрошал костюмер, обращаясь ко всем стоявшим в коридоре.

— Нельзя, — прогремели те двое, сомкнулись, преграждая ему путь, и вдруг ткнули ему кляпом в рот ее скомканное платье.

## 6

Кан шел по коридору и уже не в силах сдерживаться, плакал, слезы лились по его лицу, двумя руками он сжимал ее платье, хотя — к чему теперь было ему ее платье, — личные вещи умершего, когда-то близкого тебе и родного человека, быть может, только на память, но было ли все это — его ночи, тот их ночной разговор, она сама, как будто носившая это платье, быть может, когда он развернет это платье, тогда и поймет, было ли все это на самом деле и, если было, то кто — о, кто?! — сделал так, чтобы этого не было, а если не было, то кто сделал так, чтобы это было?

Кан вошел к себе в костюмерную, сел за стол, ночная лампа и черная ночь, и комната, опять облекавшая его согбенную фигурку, — фигурку костюмера, сидевшего за столом, — ночь, лампа и платье, которое он уже расправлял и разглаживал, — даже если ее и не было, — такова была его работа. Он даже не удивился ужасной картине: платье все в дырах, прорехах, в самом деле, чему здесь было удивляться, если... время, само время, заставшее его, было в дырах, в прорехах, — время-решето, время-дыра, — иссиня-черное, как на этом платье, в котором чернели эти самые дыры, хотя — должна была быть видна крышка стола, все что угодно, основа, в конце концов, мир, на фоне которого чинились его платья, играли актеры, влюблялись, жили и расставались люди. На самом деле никакого мира не было, как не было той крышки стола, и как бы он ни разглядывал что-то в этой дыре, как бы ни приближал свои глаза к этой пустоте, — ничего не было видно. Ну что ж, опять за нитки, за иголки, ручная работа, если не было мира, то надо было сделать так, чтобы его исчезновения никто не заметил, — латать и только латать. Но странно, — странное было платье: как только Кан справлялся с одной прорехой, на другом месте расплзалась ткань, он брался за следующую, платье рвалось в другом месте, тут было что-то знакомое, силился вспомнить костюмер, глядя на расплзавшуюся на глазах материю, что было с ним раньше, — он замер вдруг, холодея от ужаса, постой-ка, там, дома — стук в дверь, приходил почтальон, теперь здесь, в костюмерной, — ночь, платье и стол, где каждая дыра была той самой телеграммой, — эй, костюмер, зияла эта дыра, мы здесь с твоей милой, она шлет тебе... нет, слушай меня, зияла другая дыра, она здесь — только здесь... Кан зажмурился, но все еще держал в руках это платье, быть может, так же крепко, как отец — в то же самое время — свою женщину, пытал и кричал ей в лицо: признавайся! ты это или не ты? —

припадал к ней, как костюмер к дыре, — ну что вам там нужно, в вашем небытии, доколе вы будете мучать меня, костюмера?

Он опустил голову на стол и прикрыл глаза, прикасаясь своей тьмой, что жила под комочками его век, к тьме другой, дышавшей на него из-под покрова платья, и кто-то уже шел по этой зыбкой границе, по кромке его век, балансируя, как канатоходец, — налево тьма, направо тьма, не падать, не дай Бог упадешь, — тьма сольется с тьмой, и будут холод и сквозняк, и призраки, и телеграммы, и — больше ничего, но ты пока идешь, канатоходец, куда не знаешь, все равно, — по кромке света, между тьмой и тьмой, как доблестный лунатик без упрека, без боязни упасть, лунатик есть канатоходец, наилучший в мире, — идти, зажмурившись, заснув, не открывая глаз, откроешь — призраки стучатся в двери твоих век, не верь им, Костюмер, лишь спи и ни за что ты им не открывай...

Проснись! Проснись! — кричали эти призраки, тормозили его за плечи — кричали голосом женщины, которой на самом деле не было и нет.

Кан откинулся на спинку стула и увидел ее, стоявшую прямо над ним, над его столом, над платьем, исчезавшим буквально на его глазах.

— Что с тобой? — она сложила руки в каком-то умоляющем жесте, словно боялась, что он опять закроет глаза, не поверит ей, заснет, двинется в свой лунный путь поступью канатоходца. — Я не могла тебя разбудить!

Кан смотрел на нее и не верил глазам своим, она должна была быть там, с ними, жившими в коридоре, стоявшими друг за другом в очереди.

— Я не могла тебя пустить тогда! Там было очень много людей, плохих людей, тебе бы стало с ними нехорошо! Господи! — она ходила по комнате, сцепив руки в умоляющем жесте. — Ну что же нам делать? Как же нам быть? Ведь невозможно так — видеться по ночам! И даже по ночам делать вид, что не видишься!

— Да ты все знаешь? — пораженно исторг Кан.

— Ну, конечно, — она остановилась, печально улыбаясь. — Это как в детской игре: тыходишь, и кто-то говорит мне: «Замри!» Ты ищешь меня, а я даже не могу шелохнуться! О, если бы я умела не слышать этой команды! Не понимать ее! Если бы я умела как-то правильно двигаться!

— Постой! — вдруг прервал ее костюмер, какая-то неудержимая сила охватила его, подняла и бросила его прямо к ее ногам. — Я прошу тебя, я умоляю... уедем, убежим отсюда прямо сейчас!

— О, милый мой костюмер, — она нежно обхватила руками его голову и опустилась на колени, лицом к лицу, прижимаясь, и, кажется, уже плакала, а может, это был он, его слезы, — его и ее, текшие по их щекам. — Я всю свою жизнь бегу. Когда же это кончится? Когда же можно будет остановиться? Удержи меня...

— Я никогда, — застонал костюмер, тихо прикасаясь руками к ее рукам, — не делал этого... Никогда.

— Сделай это сейчас, — прошептала она, сжимая его ладони.

— Я не смогу, — выдавил из себя костюмер и вдруг зарыдал, уже не стесняясь своих мужских слез, — выплакаться до конца за все свое бесслезное прошлое. — Я не умею, — говорил он сквозь слезы, — и даже если бы я смог это сделать, то завтра же, через час, через минуту, тебя опять не будет рядом, — ты сама себе не подвластна...

— О, бедный мой костюмер, — застонала она, слегка прижимая его к себе. — Теперь я стану твоим костюмером, но сначала, — сначала, — она замерла на мгновение, откинула голову, глядя куда-то вверх, в окно, в звездное небо, — сначала я должна попрощаться с ними. И после не убежать, а уйти. Сама. Понимаешь? Без чьей-либо помощи. Чтобы никто, никто не посмел мне снова сказать: «Замри».

Все оставшиеся дни до следующего ее спектакля Кан просто отсиживался в своей

костюмерной, и если ему приходилось выходить иногда из своего убежища, то непременно так, чтобы поскорей возвратиться обратно, чтобы быть всегда на месте, на том самом месте, откуда он и начнет свое новое движение. Уже ни работа, ни те немногие костюмы, остававшиеся в костюмерной, не занимали его как прежде, как не занимали его и те тревожные события, происходившие наверху, на сцене. Обыкновенно кто-то из еще оставшихся в театре рассказывал ему, что спектакли срывались один за другим, играть было некому, а если кто и играл, то в присутствии тех страшных и грязных людей, уже завоевывавших сцену с какой-то безудержной яростью.

Все это и так было заметно по костюмам, которых становилось все меньше, — одни лишь ватники, грязные пиджаки, халаты, — непонятно, как все исчезало, ведь костюмер все время проводил в костюмерной, правда, иногда приходили актеры, забирали свои костюмы перед спектаклем, но возвращали все реже и реже, быть может, кто-то незримо присутствовал в костюмерной, следил за ним, ждал, когда он выйдет, снимал с вешалки костюм и удирал, а может, сначала переодевался, — получался самый настоящий гардероб, в самом деле, театр теперь начинался именно с вешалки, на которой, словно трупы, висели черные одежды, казалось, обугленные в яростном, охватившем весь театр огне.

Наконец тот желанный ему день, день *ее* выхода, наступил. По окончании представления он должен был подняться к ней, — во что бы то ни стало взять за руку и вывести из театра. Когда спектакль — по времени — начался, костюмер стал расхаживать по комнате, волнение охватило его, особенно в последние часы ожидания; чтобы как-то занять себя, он стал рассматривать эту жуткую одежду, так вероломно вытеснившую его костюмы, — где же они были теперь? — и даже брезгливо притрагивался к ней, пытаясь понять, что бы это на самом деле значило. Эти грязные костюмы висели во всю длину комнаты, и когда он проходил вдоль их рядов, он улавливал какой-то тихий беспокойный гул, угрожающе нараставший за его спиной. Когда он оглядывался, ничего странного не обнаруживал, если не считать легкого, но настойчивого раскачивания костюмов на вешалках. Потом он услышал какой-то свист, то ли шепот, то ли свист из глубины одежных рядов, он присел на корточки и просунул голову, с отвращением прикасаясь к висевшей над ним одежде, отвел было фалды пиджака — взглянуть в этот могильный полумрак, и вдруг свирепый оглушительный удар опрокинул его на пол. Он попытался подняться, еще ничего не понимая, но уже следующие удары — один за другим — посыпались ему на голову, на спину. Он успел подумать о том, что здесь в самом деле кто-то прятался, выжидал подходящего момента и вот дождался, быть может, раскрыв его тайные планы, молотил осатанело по нему, наверное, не один, их было несколько, — ногами и руками, били кто куда, а может, не били, а выбивали, — опять появилось странное ощущение, — что-то из него, и, кажется, он знал теперь, что им было нужно, — всем тем, кто обрушивался на него с ударами, и — больше — кто воровал и портил его костюмы, рвал их в клочья, посылал ему и отцу телеграммы, теперь он знал точно, они выбивали из него *ее*, именно *ее*, должно быть, игравшую сейчас на сцене и не подозревавшую о том, как стойко думал он о ней, именно сейчас, назло всем: после каждого удара он пытался подняться, но тут же кто-то опрокидывал его на пол, как не умеющего ходить ребенка, — еще и еще! — и пока он помнил о ней, он держался, хотя не помнить о ней он уже никак не мог, даже когда лежал навзничь, распластанный на полу, когда, казалось, из него выбили все, что можно, когда между ним и полом не могло быть ничего, он все равно знал — она здесь, она где-то рядом и вот-вот он наполнится ею, оправится, встанет и поднимется к ней навстречу.

## 7

Первое, что хотелось сделать ему, — немедленно оторваться от плоскости, продолжить вдруг прерванный кем-то бег, хотя, если вспомнить, никакого бега и не было, он лишь собирался подняться к ней наверх, а потом эти удары, один за другим, — он оглянулся, вся эта ужасная одежда была раскидана теперь по полу, значит, в самом деле все это было. Он попытался подняться, но подвернул руку, прополз несколько шагов вперед, — навстречу кому-то в самом конце одежных рядов. Когда он приблизился, он увидел Рогожина, лежавшего прямо на полу в своем черном крытом тулупе — то ли спавшего, то ли без сознания, — непонятно, как он вообще здесь оказался. Когда костюмер наклонился над ним, он понял, что тот был по-прежнему пьян, — лежал неподвижно и как бы не слышал, не видел его движений, но, странно, глаза его ярко блестели в темноте и были совершенно открыты и неподвижны.

Прошло несколько минут, и вдруг Рогожин громко и отрывисто закричал, словно продолжая прерванный кем-то разговор: «Бутафор... чертов бутафор... выдал мне вместо ножа эту дрянь, — он вдруг заелозил по полу и чем-то загрохотал, и Кан увидел, что Рогожин лежит прямо на лезвии меча, пытается вытянуть его из-под себя, выпростать руку. — Я ему говорил, — взвизгивал он, — нельзя так... как же я буду играть, он ни в какую, ножей, говорит, нет — ни маленьких, ни больших, ни тупых, ни острых. Что же мне теперь делать? Хоть самому под меч... Заберите! — взвизгнул он и вдруг вытянулся весь вперед, с ужасом разглядывая костюмера. — Заберите от меня это!

Кан вскочил в испуге и вспомнил: она должна ждать его там, наверху, — он бросился из костюмерной вон, спотыкаясь и пугаясь в каких-то пиджаках и халатах, разбросанных по всей комнате. В коридоре никого не было, странно, он был готов на все, — биться с врагом до последнего, хотя неизвестно, сколько времени он пролежал без сознания, быть может, никто и не думал, что он сможет подняться, он прошел мимо одной двери, второй, качало из стороны в сторону, наконец остановился у ее гримерной. Дверь была заперта, он толкнулся плечом — за дверью ни звука, ни шороха, — неужели никого? — стал стучать чем-то тяжелым, хотя руки его, казалось, ничем не были заняты. «Открой, это я, Костюмер!» — бился он в дверь, умолял эту дверь, — теплилась еще надежда. Потом все-таки раздался шорох, слава Богу, она была там, он стал стучать сильнее, дверь наконец отворилась, — о, да, кажется, это была она...

— Что с тобой?

Кан вошел в комнату, она как-то нервно отступила в сторону.

— Что это у тебя в руке?

Кан точно очнулся, увидел, что в руке держал меч, тот самый жуткий меч, который так яростно пытался отдать ему Рогожин, — вещи, казалось, сами овладевали им, — растерянным и растерявшим все костюмером.

— Это же я, Костюмер!

— Вижу, вижу, — все еще испуганно повторяла она. — Закрой дверь, здесь кто-то постоянно ходит, сопит в замочную скважину, — какая-то ужасная ночь!

Кан опустил меч, перевел дыхание, огляделся и вдруг словно вспомнил: «О, скорей же! Что мы тут делаем? Ты готова?»

— Готова, — как-то смиренно произнесла она и кивнула на маленький чемоданчик, — все, что было у нее из вещей.

Кан крепко схватил ее за руку и выбежал в коридор, и пол уже качался под ногами, костюмер то и дело размахивал впереди себя мечом и слышал, как сзади она умоляла

его не делать этого, вся перепуганная, но — послушай! — бежать, не размахивая мечом, было бы крайне опасно, казалось, кто-то выскочит прямо из стен и углов, набросится на них, схватит ее и унесет, и тогда он уже никогда не сможет найти ее. Слава Богу, коридоры закончились, с треском хлопнула дверь, словно выпнула их, вырвавшихся в ночь — воздух, звезды на небе, луна, черные ветви деревьев по краям, казалось, выстраивали уже свой бесконечный коридор.

«Убери, да убери же ты, наконец, это!» — не переставала она умолять его, вся перепуганная, он по-прежнему продолжал размахивать этим мечом — или уже меч им? — сражаясь с одному ему видимыми врагами, пытаюсь объяснить ей на ходу, что здесь кто-то был, рядом с ними, совсем рядом, всегда был, понимаешь, даже если никого и не было, он лишь отпугивает *его* этим мечом, чтобы не дай Бог не преградил он им путь, и даже — представь невозможное! — если бы не было никого и ничего вокруг — ни этих деревьев, ни улиц, ни даже его — о, прости, дорогая! — он должен все равно размахивать этим мечом, единственно настоящим, что ограждает ее от этого призрачного мира.

Так они пробежали несколько кварталов, то останавливаясь, то судорожно вырываясь вперед, — странная была картина: он угрожающе выкрикивал что-то улицам, домам и деревьям, и взмахи его были поистине страшны и опасны, и если бы кто и повстречался им в эту ночь, то на верняка бы свернул с пути, — спрятался бы в уличной тьме, под сенью деревьев вместе с другим — т-с-сс, кто здесь? — пишущим сейчас эти строки — о, не размахивай ты так мечом, Костюмер! — звезды на голову, небо в лоскутках, здесь в самом деле нет никого, кроме меня-не меня, Костюмер, — кто должен дойти вместе с тобой по этой пустынной улице до самого финала.

Только в подъезде костюмер успокоился, быть может, доверяя своим стенам, лесенкам и потолкам, по-прежнему крепко держа ее за руку, с этажа на этаж, отпер, наконец, дверь и провел ее в свою комнату. Вошел вслед и устало плюхнулся на стул, в самом деле, после улицы, полной невидимых врагов, тяжесть настигла его. Попытайся заснуть, — твердо выговорил он фразу-пароль, прежде чем ночь приняла бы их в свои объятия, и вдруг замер, чувствуя, как радость, странная радость охватывала его.

Всего, что было с нами, на самом деле не было, — он улыбнулся ей, она — в ответ, натягивая на себя до подбородка одеяло. Он взглянул в окно и увидел, как ночь, вся раскрытая его страшным мечом на кусочки, складно схватывалась, обретая прежние формы, как единое целое перетекала за оконным стеклом, скользила мимо них, продолжая течение так и не побежденного им времени, и все уплывало в этом потоке — его прежние дни, горести, страхи, переживания. Потом — слабый шум, то ли стон, то ли гул вывел его из оцепенения, он взглянул на нее — удостовериться по привычке, не исчезла ли, осталась ли на месте, потом тихо, чтобы не разбудить ее, вышел в коридор и увидел фигурку отца, совершавшего свой утренний объезд. Казалось, он совсем забыл про него, особенно в эту ночь, не оставлявшую ему времени для лишних раздумий и сомнений, он двинулся вслед за ним и прижался, как обычно, к стене: вот сейчас старик в конце коридора развернется и тронется ему навстречу, и тогда он сможет сказать ему что-то очень важное, чего, быть может, он ранее не говорил ему никогда.

«Отец, — прошептал костюмер, прижимаясь изо всех сил к стене, чтобы не вспугнуть его, не расстроить его движения. — Отец, я...» Ту-ту, прогудел старик, проходя мимо стены, казалось, такой длинной, что он мог бы успеть сказать ему главное. «Отец, я...» Ту-ту, прогудел опять старик, проходя мимо стены, казалось, такой короткой, что он не успел бы сказать ему ничего. Тогда он бросился вперед, нарушая правила этой странной игры, обгоняя поезд, выезжавший напрямую к себе в комнату, — развернулся и вдруг почувствовал, что по-прежнему сжимает в руке

меч — вырони его! — быть может, вложенный кем-то ему в руку именно ради этого момента. Ту-ту... — надвигался на него старик все ближе и ближе, — тут взмах, с силой, от плеча, — раз, два, жуткий свист, он зажмурился — ууухх! Ту-ту, простонал этот мир, пойманный наконец в смирительную рубашу коридора. Он открыл глаза: старик проходил сквозь него, мгновенно — как та ночь за окном, — собравшийся по частям. Без клея и крови. Протяжный гудок прибытия. Дверь скрипнула, Кан испуганно — то на дверь, то на меч, то на старика, буксовавшего на месте: упирался в какую-то женщину, согбенный, тыкался ей прямо в живот, словно жаловался ей, глядевшей — через проем — прямо на него, костюмера, ах, это ваш сын? ах, что это у вас в руке? — надменно, с легким поклоном приветствия, — полная достоинства новоявленной мачехи и хозяйки дома.

Он даже не ответил, он только и смог что осторожно, мелкими шажками, сгорбившись, как ветхий больной старичок, пройти к себе в комнату — выронить из руки меч, ползком к кровати, — лечь рядом с ней, спавшей глубоким, и, быть может, счастливым сном.

Когда он очнулся, первым желанием, охватившим его, было — подняться скорей на работу, — о, что он тут делает? — в театр, в костюмерную, но, в сущности, к ней одной, быть может, ожидавшей в эти ночные часы его в своей гримерной. Но — бежать не нужно было никуда, она была рядом, так близко, как не бывало и — не могло быть никогда. Он спохватился и привстал на колени, и стал медленно подползать к ней, простирая навстречу спавшей руки, — протягивая ей одной какое-то невыразимо прекрасное платье, быть может, лучшую из своих работ. Когда он приблизился к ней, он на мгновение замер, не по нимая, что ему делать дальше, и — тихо прикасался к ней — к ее плечам, лицу, векам и губам. И тут же отдергивал руки, ночной вор, уже весь в лихорадке, в ужасе, в непонимании, и протягивал опять, боясь, что она вдруг исчезнет, растворится в сумерках навсегда. И вот он затаил дыхание и обнял ее, впервые за всю свою жизнь, и, обнимая, вспоминал урывками, что он здесь, да, что представление уже начинается, что надо спешить и одеть ее в платье, которое он шил для нее все эти тревожные сумбурные дни. Когда он сжимал ее, она билась в объятиях, тогда он просил, умолял ее — немножечко потерпеть. Но, странно, она никак не внимала его словам, капризная сонная девочка, все пыталась выпростаться из его рук. Тогда — потеряв терпение, — он сжал ее изо всех сил, не оставляя на ней ни одного непокрытого места, и, глядя ей в глаза, уже верил, видел, представлял, как вот-вот, вздрогнув, вдруг замрет она, вся в сказочном мгновении перевоплощения, но уже не перед полным залом, а только перед ним одним.